



Ultima Thule, Vladimir Nabokov

Владимир Набоков

Ultima Thule

[1 - Дальний Предел]

Помнишь, мы как-то завтракали (принимали пищу) года за два до твоей смерти? Если, конечно, память может жить без головного убора. Кстатическая мысль: вообразим новейший письменник. К безрукому: крепко жму вашу (многоточие). К покойнику: призрачно ваш. Но оставим эти виноватые виньетки. Если ты не помнишь, то я за тебя помню, память о тебе может сойти, хотя бы грамматически, за твою память и ради крашеного слова вполне могу допустить, что если после твоей смерти я и мир еще существуем, то лишь благодаря тому, что ты мир и меня вспоминаешь. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому поводу.

Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому случаю. Сейчас обращаюсь к тебе только затем, чтобы поговорить с тобой о Фальтере. Вот судьба! Вот тайна! Вот почерк! Когда мне надоедает уверять себя, что он полоумный или квак (как на английский лад ты звала шарлатанов), я вижу в нем человека, который... который... потому что его не убила бомба истины, разорвавшаяся в нем... вышел в боги! — И как же ничтожны перед ним все прозорливцы прошлого: пыль, оставляемая стадом на вечерней заре, сон во сне (когда снится, что проснулся), первые ученики в нашем герметически закрытом учебном заведении: он то вне нас, в яви, — вот раздутое голубиное горло змеи, чарующей меня.

Помнишь, мы как-то завтракали в ему принадлежавшей гостинице, на роскошной, многоярусной границе Италии, где асфальт без конца умножается на глицинии, и воздух пахнет резиной и раем? Адам Фальтер тогда был еще наш, и если ничто в нем не предвещало — как это сказать? — скажу: прозрения, — зато весь его сильный склад (не хрящи, а подшипники, карамбольная

связность телодвижений, точность, орлиный холод) теперь, задним числом, объясняет то, что он выжил: было из чего вычитать.

О, моя милая, как улыбнулось тобой с того лукоморья, — и никогда больше, и кусаю себе руки, чтобы не затрястись, и вот не могу, съезжаю, плачу на тормозах, на б и на у, и все это такая унижительная физическая чушь: горячее мигание, чувство удушья, грязный платок, судорожная, попеременно со слезами, зевота, — ах, не могу без тебя... и высморкавшись, переглотнув, вот опять начинаю доказывать стулу, хватая его, столу, стуча по нему, что без тебя не бобу. Слышишь ли меня? Банальная анкета, на которую не откликаются духи, — но как охотно за них отвечают односмертники наши; я знаю! (пальцем в небо) вот позвольте я вам скажу...

Милая твоя голова, ручеек виска, незабудочная серость косящего на поцелуй глаза, тихое выражение ушей, когда поднимала волосы, — как мне примириться с исчезновением, с этой дырой в жизни, куда все теперь осыпается, скользит, вся моя жизнь, мокрый гравий, предметы, привычки... и какая могильная ограда может помешать мне тихо и сытно повалиться в эту пропасть. Душекружение. Помнишь, как тотчас после твоей смерти я выбежал из санатория и не шел, а как то притоптывал и даже пританцовывал (прищемив не палец, а жизнь), один на той витой дороге между чрезвычайно чешуйчатых сосен и колючих щитов агав, в зеленом бронированном мире, тихонько подтягивавшем ноги, чтобы от меня не заразиться. О да, все кругом опасно и внимательно молчало, и только когда я смотрел на что-нибудь, это что-нибудь, спохватившись, принималось деланно двигаться или шелестеть или жужжать, словно не замечая меня. «Равнодушная природа», — какой вздор! Сплошное чурание, вот это вернее.

Жалко же. Такая была дорогая. И держась снутри за тебя, за пуговку, наш ребенок за тобой последовал. Но, мой бедный господин, не делают женщине брюха, когда у нее горловая чахотка. Невольный перевод с французского на адский. Умерла ты на шестом своем месяце и унесла остальные, как бы не погасив полностью долга. А как мне хотелось, сообщил красноносый

вдовец стенам, иметь от нее ребеночка. Etes vous tout à fait certain, docteur, que la science ne connaît pas de ces cas exceptionnels où l'enfant naît dans la tombe? [2 - Доктор, Вы вполне уверены в том, что науке не известны такие исключительные случаи, когда ребенок рождается у умершей? (фр.)] И сон, который я видел: будто этот чесночный доктор (он же не то Фальтер, не то Александр Васильевич) необыкновенно охотно отвечал, что да, как же, это бывает, и таких (т. е. посмертно рожденных) зовут трупсиками.

Ты-то мне еще ни разу с тех пор не приснилась. Цензура, что ли, не пропускает, или сама уклоняешься от этих тюремных со мной свиданий. Первое время я суеверно, унизительно, подлый невежда, боялся тех мелких тресков, которые всегда издает комната по ночам, но которые теперь страшной вспышкой отражались во мне, ускоряя бег кудахтающего низкокрылого сердца. Но еще хуже были ночные ожидания, когда я лежал и старался не думать, что ты вдруг можешь мне ответить стуком, если об этом подумаю, но это значило только усложнять скобки, фигурные после простых (думал о том, что стараюсь не думать), и страх в середине рос да рос. Ах, как был ужасен этот сухонький стук ноготка внутри столешницы, и как не похож, конечно, на интонацию твоей души, твоей жизни.

Вульгарный дух с повадками дятла, или бесплотный шалун, призрак-пошляк, который пользуется моим голым горем. Днем же, напротив, я был смел, я вызывал тебя на любое проявление отзывчивости, пока сидел на камушках пляжа, где когда-то вытягивались твои золотые ноги, — и как тогда волна прибежала, запыхавшись, но, так как ей нечего было сообщить, рассыпалась в извинениях. Камни, как кукушкины яйца, кусок черепицы в виде пистолетной обоймы, осколок топазового стекла, что-то вроде мочального хвоста, совершенно сухое, мои слезы, микроскопическая бусинка, коробочка из-под папирос, с желтобородым матросом в середине спасательного круга, камень, похожий на ступню помпеянца, чья-то косточка или шпатель, жестянка из-под керосина, осколок стекла гранатового, ореховая

скорлупа, безотносительная ржавка, фарфоровый иверень, — и где-то ведь непременно должны были быть остальные, дополнительные к нему части, и я воображал вечную муку, каторжное задание, которое служило бы лучшим наказанием таким, как я, при жизни слишком далеко забежавшим мыслью, а именно: найти и собрать все эти части, чтобы составить опять тот соусник, ту супницу, — горбатые блуждания по дико туманным побережьям, а ведь если страшно повезет то можно в первое же, а не триллионное утро целиком восстановить посудину — и вот он, этот наимучительнейший вопрос везения, лотерейного счастья, — того самого билета, без которого может быть не дается благополучия в вечности.

В эти ранние весенние дни узенькая полоса гальки проста и пуста, но по набережной надо мной проходили гуляющие, и кто-нибудь, я думаю, говорил, глядя на мои лопатки: вот художник Синеусов, на днях потерявший жену. И, вероятно, я бы так просидел вечно, ковыряя сухой морской брак, глядя на спотыкавшуюся пену, на фальшивую нежность длинных серийных облачков вдоль горизонта и на темно-лиловые тепловые подточины в студеной синезелени моря, если бы действительно кто-то с панели меня не узнал.

Но (путаясь в рваных шелках слога) возвращаюсь к Фальтеру. Как ты теперь вспомнила, мы однажды отправились туда, ползя в этот жарчайший день как два муравья по ленте цветочной корзины, потому что мне было любопытно взглянуть на бывшего моего репетитора, уроки которого сводились к остроумной полемике с Краевичем, а сам был упругий и опрятный, с большим белым носом и лаковым пробором; по этой прямой дорожке он потом и пошел к коммерческому счастью, а отец его, Илья Фальтер, был всего лишь старшим поваром у Менара, повар ваш Илья на боку. Ангел мой, ангел мой, может быть, и все наше земное ныне кажется тебе каламбуром, вроде «ветчины и вечности» (помнишь?), а настоящий смысл сущего, этой пронзительной фразы, очищенной от странных, сонных, маскарадных толкований, теперь звучит так чисто и сладко, что тебе, ангел, смешно, как это мы могли сон принимать всерьез (мы-то, впрочем, с тобой

догадывались, почему все рассыпается от прикосновения исподтишка: слова, житейские правила, системы, личности, — так что, знаешь, я думаю, что смех это какая-то потерянная в мире случайная обезьянка истины).

И вот я увидел его опять после двадцатилетнего что ли перерыва, и оказалось, что я правильно делал, когда приближаясь к гостинице, трактовал все ее классические прикрасы, — кедр, эвкалипт, банан, терракотный теннис, автомобильный загон за газоном, — как церемониал счастливой судьбы, как символ тех поправок, которых требует теперь прошлый образ Фальтера. За годы разлуки со мной, вполне нечувствительной для обоих, он из бедного жилистого студента с живыми как ночь глазами и красивым крепким налево наклоненным почерком, превратился в осанистого, довольно полного господина, сохранив при этом и живость взгляда, и красоту крупных рук, но только я бы никогда не узнал его со спины, т. к. вместо толстых гладких, в скобку остриженных волос, виднелась посреди черного пуха коричневая от загара плешь почти иезуитской формы.

В шелковой, цвета пареной репы рубашке, с клетчатым галстуком, в широких гриперловых панталонах и пегих туфлях, он показался мне ряженым, но большой нос был все тот же, и им-то он безошибочно почуял тонкий запах прошлого, когда подойдя, я хлопнул его по мускулистому плечу и задал ему мою загадку. Ты стояла чуть поодаль, сдвинув голые лодыжки на кубовых каблуках и сдержанно, с лукавым интересом, оглядывая обстановку громадного пустого в этот час холя, гиппопотамовую кожу кресел, строгого стиля бар, английские журналы на стеклянном столе, нарочито простые фрески, изображающие жидкогрудых бронзовых дев на золотом фоне, одна из которых, с параллельными прядями стилизованных волос, спадающих вдоль щеки, почему-то стояла на одном колене. Могли ли мы думать, что хозяин всей этой красоты когда-нибудь перестанет ее видеть?

Ангел мой... Пока что, приняв мои руки в свои, сжимая их, морща переносицу и вглядываясь в меня темными прищуренными

глазами, он выдерживал ту паузу, прерывающую жизнь, которую выдерживает собирающийся чихнуть, не совсем еще зная, удастся ли это, — но вот удалось, вспыхнуло прошлое, и он громко назвал меня по имени. Он поцеловал твою ручку, не наклоня головы, и благожелательно засуетясь, явно наслаждаясь тем, что я, бывший человек, теперь застал его в полном блеске той жизни, которую он сам создал силой своей ваятельской воли, усадил нас на террасе, заказал коктейли и завтрак, познакомил нас со своим зятем, интеллигентным человеком в темном партикулярном платье, странно отличавшемся от экзотического франтовства самого Фальтера. Мы попили, поели, поговорили о прошлом, как о тяжело больном, мне удалось сбалансировать нож на спинке вилки, ты приласкала чудную нервную собаку, явно боявшуюся хозяина, — и после минуты молчания, среди которого Фальтер вдруг отчетливо сказал «да», словно кончая консилиум, расстались, пообещав друг другу то, что ни он, ни я не собирались сдержать.

Ты ничего не нашла замечательного в нем, не правда ли? И точно, ух как заезжен этот тип, в серой молодости содержавший спившегося отца при помощи уроков, а затем медленно, упрямо и бодро добившийся благосостояния, ибо кроме не очень доходной гостиницы у него были винноторговые дела, шедшие весьма успешно. Но как я потом понял, ты была неправа, когда говорила, что это скучновато, что от таких энергичных удачников всегда несет потом. Нет, теперь я безумно завидую основной черте бывшего Фальтера, точности и крепости его «волевой субстанции», как, помнишь, совсем по другому поводу выражался бедный Адольф.

Сидел ли он в окопе или в канцелярии, спешил ли на поезд, вставал ли в темное утро в нетопленной комнате, налаживал ли деловые связи, преследовал ли кого-нибудь дружбой или враждой, он не только всегда владел всеми своими способностями, не только всегда жил со взведенным курком, но всегда был уверен, что сегодняшней и завтрашней, и всей череды постепенных своих целей он добьется непременно, и притом работал экономно, ибо метил невысоко и точно знал границу своих возможностей. Его главная заслуга перед собой та, что он сознательно обходил

собственные таланты, делая ставку на дюжинное, общепринятое, а ведь он был одарен странными, чем-то обаятельными способностями, которые другой, менее осмотрительный, постарался бы практически применить.

Пожалуй, только еще в самой молодости он не всегда умел сдержаться и мешал казенное натаскивание гимназиста по казенному предмету с необыкновенно изящными проявлениями математической мысли, оставлявшими в моей классной какой-то холодок поэзии, когда он, спеша, уходил. Я с завистью думаю, что, обладай я крепостью его нервов, упругостью души, сгущенностью воли, он бы теперь мне передал сущность нечеловеческого открытия сделанного недавно им, т. е. не боялся бы что его сообщение меня раздавит; я же со своей стороны был бы достаточно упорен, чтобы заставить его все сказать до конца.

С набережной сипловато и деликатно кто-то меня окликнул, но так как со дня нашего завтрака с Фальтером прошло больше года, я не сразу узнал в человеке, бросившем на мои камни тень, его смиренного зятя. Из машинальной вежливости я поднялся к нему на панель, и он выразил мне свое болезненное, соболиное: случайно-де заглянул в мой пансион, где добрые люди не только сообщили ему о твоей смерти, но издали указали ему на мою фигуру среди пустого пляжа — фигуру, ставшую некоторого рода достопримечательностью (мне на минуту стало стыдно, что гроб моего горя виден со всех террас).

— Мы познакомились у Адама Ильича, — сказал он, показывая орешки резцов и занимая свое место в моем вялом сознании. Я должно быть что-то спросил про Фальтера.

— Как, разве вы не знаете? — удивился болтун, и тогда-то я узнал всю историю.

Как-то прошлой осенью Фальтер отправился по делу в винограднейший из приморских городов, и, как обыкновенно, остановился в тихом маленьком отеле, хозяин которого был его

давним должником. Надо себе представить этот отель, расположенный под перистой мышкой холма, поросшего мимозником, и неполностью застроенную улочку с полдюжиной каменных дачек, где пели радиолы в небольшом человеческом пространстве между Млечным путем и олеандровой дремой, и пустыри, где вырабатывали свой ночной цинк кузнечики, и растворенное окно Фальтера в третьем этаже. Проведя гигиенический вечер в небольшом женском общежитии на бульваре Взаимности, он, в отличном настроении, с ясной головой и легкими чреслами, вернулся около одиннадцати в отельчик, и сразу поднялся к себе.

Пепельное от звезд чело ночи, тихо-безумное ее выражение, роение огней в старом городе, забавная математическая задача, по поводу которой он в прошлом году переписывался со шведским ученым, сухой и сладкий запах, как бы сидящий без мысли и дела там и сям в ямах мрака, метафизический вкус удачно купленного и перепроданного вина, на днях полученное из далекого, мало соблазнительного государства известие о смерти единоутробной сестры, образ которой давно увял в памяти, — все это, мне так представляется, плыло в сознании у Фальтера, пока он шел по улице и потом поднимался к себе, и хотя в отдельности эти мысли и впечатления ничуть не были какими-либо новыми или особенными для этого крепконосого, не совсем заурядного, но поверхностного человека (ибо по своей человеческой сути мы делимся на профессионалов и любителей, — Фальтер, как и я, был любитель), они в своей совокупности образовали быть может наиболее благоприятную среду для вспышки, для катастрофической, как главный выигрыш, чудовищно случайной, никак не предсказанной обиходом его рассудка, сверхжизненной молнии, поразившей его в ту ночь в том отеле.

Минуло около получаса со времени его возвращения, когда собранный сон небольшого белого дома, едва зыблившийся антикомариным крепом да ползучим цветком, был внезапно — нет, не нарушен, а, разъят, расколот, взорван звуками, оставшимися незабвенными для слышавших, дорогая моя, эти

звуки, эти ужасные звуки. То были не свиные вопли неженки, торопливыми злодеями убиваемого в канаве, и не рев раненого солдата, которого озверелый хирург кое-как освобождает от гигантской ноги, они были хуже, о, хуже... и если уж сравнивать, говорил потом м-сье Раон, hôtelier [3 - м-сье Паон, содержатель гостиницы (фр.)], то, пожалуй, они скорее всего напоминали захлебывающиеся, почти ликующие крики тяжело рожавшей женщины, но женщины с мужским голосом и с великаном во чреве.

Трудно было разобрать, какая главенствовала нота среди этой бури, разрывавшей человеческую гортань — боль, или страх, или труба безумия, или же, и последнее вернее всего, выражение чувства неведомого, и оно-то наделяло вой, вырывавшийся из комнаты Фальтера чем-то, что возбуждало в слушателях паническое желание немедленно это прервать. Молодожены в ближайшей постели остановились, параллельно скосив глаза и затаив дыхание, голландец, живший внизу, выкатился в сад, где уже находились экономка и восемнадцать белевшихся горничных (всего две, размноженные перебежками). Хозяин, сохранивший по его словам полное присутствие духа, кинулся наверх и удостоверился, что дверь, за которой продолжался ураган криков, столь мощный, что против него было трудно идти, снутри заперта и не открывается ни на стук, ни на слово. Орущий Фальтер (поскольку можно было догадываться, что орет именно он, — его отворенное окно было темно, а невыносимые звуки, исходившие оттуда, не носили печати чьей-либо личности), распространялся далеко за пределы дома, и в окрестной черноте набирались соседи, у одного негодяя было пять карт в руке, все козыри. Теперь уже совсем нельзя было постигнуть, как могли чьи бы то ни было связи выдержать... по одним сведениям Фальтер кричал около четверти часа, по другим, пожалуй более достоверным, минут пять подряд. Вдруг (покамест хозяин решал вопрос, взломать ли общими усилиями дверь, приставить ли лестницу извне, или вызвать полицию), крики, достигнув последнего предела муки, ужаса, изумления и того, что никак нельзя было определить, превратились

в какое-то месиво стонов и оборвались. Настала такая тишина, что в первую минуту присутствующие переговаривались шепотом.

На всякий случай хозяин опять постучал в дверь, из-за нее донеслись вздохи, неверные шаги, потом стало слышно, как кто-то теревит замок, словно не умея отпереть. Слабый, мягкий кулак зашмякал изнутри. Тогда хозяин сделал то, что, собственно говоря, мог бы сделать гораздо раньше: нашел другой подходящий ключ и отпер.

— Света бы, — тихо сказал Фальтер в темноте. Мельком подумав, что он во время припадка разбил лампу, хозяин машинально проверил выключатель... но послушно отверзся свет, и Фальтер, мигая, с болезненным удивлением перебежал глазами от руки давшей свет к налившейся стеклянной груше, точно впервые видел, как это делается.

Странная, противная перемена произошла во всей его внешности: казалось, из него вынули костяк. Потное и теперь как бы обрюзгшее лицо с отвисшей губой и розовыми глазами выражало не только тупую усталость, но еще облегчение, животное облегчение после чудовищных родов. По пояс обнаженный, в одних пижамных штанах, он стоял, опустив лицо, и тер ладонью одной руки тыльную сторону другой. На естественные вопросы хозяина и жильцов он ничего не ответил, только надул щеки, отстранил подошедших и, выйдя из комнаты, стал обильно мочиться прямо на ступени лестницы. Затем лег на постель и заснул.

Утром хозяин предупредил по телефону его сестру, что Фальтер помешался, и полусонный, вялый, он был увезен восвояси. Врач, обычно лечивший у них, предположил наличие ударчика, и прописал соответствующее лечение. Но Фальтер не поправился. Правда, он через некоторое время начал свободно двигаться, и даже иногда посвистывать, и громко говорить оскорбительные вещи, и хватать еду, запрещенную врачом.

Перемена, однако, осталась. Это был человек, как бы потерявший все: уважение к жизни, всякий интерес к деньгам и делам, общепринятые или освященные традиции чувства, житейские навыки, манеры, решительно все. Его было небезопасно отпускать куда-либо одного, ибо с совершенно поверхностным, быстро забываемым, но обидным для других любопытством, он заговаривал со случайными прохожими, расспрашивал о происхождении шрама на чужом лице или о точном смысле слов, подслушанных в разговоре, не обращенном к нему. Мимоходом брал с лотка апельсин и ел его с кожей, равнодушной полуулыбкой отвечая на скороговорку его догнавшей торговки. Утомясь или заскучав, он присаживался по-турецки на панель и старался от нечего делать поймать в кулак женский каблук, как муху. Однажды он присвоил себе несколько шляп, пять фетровых и две панамы, которые старательно собирал по кафэ, — и были неприятности с полицией.

Его состоянием заинтересовался какой-то известный итальянский психиатр, навещавший кого-то в фальтеровой гостинице. Это был нестарый еще господин, изучавший, как он сам охотно толковал, «динамику душ» и в печатных работах, весьма популярных не в одних научных кругах, доказывавший, что все психические заболевания объяснимы подсознательной памятью о несчастьях предков пациента, и что если больной страдает, скажем, мегаломанией, то для полного его излечения стоит лишь установить, кто из его прадедов был властолюбивым неудачником, и правнуку объяснить, что пращур умер, навсегда успокоившись, хотя в сложных случаях приходилось прибегать чуть ли не к театральному, в костюмах эпохи, действию, изображающему определенный род смерти предка, роль которого давалась пациенту. Эти живые картины так вошли в моду, что профессору пришлось печатно объяснять публике опасность их постановки вне его непосредственного контроля.

Порасспросив сестру Фальтера, итальянец выяснил, что предков своих Фальтеры не знают, их отец, правда, был не прочь напиться пьяным, но так как по теории «болезнь отражает лишь давно

прошедшее», как, скажем, народный эпос сублимирует лишь давние дела, подробности о Фальтере-рère [4 - о Фальтере-отце (фр.)] были ему ненужны. Все же он предложил, что попробует заняться больным, надеясь путем остроумных расспросов добиться от него самого объяснения его состояния, после чего предки выведутся из суммы сами; что такое объяснение существовало, подтверждалось тем, что когда удавалось близким проникнуть в молчание Фальтера, он кратко и отстранительно намекал на нечто из ряда вон выходящее, испытанное им в ту непонятную ночь.

Однажды итальянец уединился с Фальтером в комнате последнего и, так как был сердцевед опытный, в роговых очках и с платочком в грудном карманчике, по-видимому, добился от него исчерпывающего ответа о причине его ночных воплей. Вероятно, дело не обошлось без гипнотизма, так как Фальтер потом уверял следователя, что проговорился против воли, и что ему было не по себе. Впрочем он добавил, что все равно, рано или поздно, произвел бы этот опыт, но что уж наверное никогда его не повторит. Как бы то ни было, бедный автор «Героики Безумия» оказался жертвой фальтеровой медузы.

Так как задушевное свидание между врачом и пациентом неестественно затянулось, сестра Фальтера, вязавшая серый шарф на террасе и уж давно не слышавшая разымчивого, молодецкого или фальшиво-вкрадчивого тенорка, невнятно доносившегося вначале из полуоткрытого окошка, поднялась к брату, которого нашла рассматривающим со скучным любопытством рекламную брошюрку с горно-санаторскими видами, вероятно, принесенную врачом, между тем как сам врач, наполовину съехавший с кресла на ковер, с интервалом белья между жилетом и панталонами, лежал, растопыбив маленькие ноги и откинув бледно-кофейное лицо, сраженный, как потом выяснилось, разрывом сердца. Деловито вмешавшимся полицейским властям Фальтер отвечал рассеянно и кратко; когда же, наконец, эти приставания ему надоели, он объяснил, что, случайно разгадав «загадку мира», он поддался изощренным увещаниям и поведал ее

любопытному собеседнику, который от удивления и помер. Газеты подхватили эту историю, соответственно ее изукрасив, и личность Фальтера, переодетая тибетским мудрецом, в продолжение нескольких дней подкармливала непривередливую хронику.

Но, как ты знаешь я в те дни газет не читал: ты тогда умирала. Теперь же, выслушав подробный рассказ о Фальтере, я испытал некое весьма сильное и слегка как бы стыдливое желание.

Ты, конечно, понимаешь. В том состоянии, в котором я был, люди без воображения, т. е. лишенные его поддержки и изысканий, обращаются к рекламным волшебникам, к хиромантам в маскарадных тюрбанах, промышляющих промеж магических дел крысиным ядом или розовой резиной, к жирным, смуглым гадалкам, — но особенно к спиритам, подделывающим неизвестную еще энергию под млечные черты призраков и глупо предметные их выступления. Но я воображением наделен, и потому у меня были две возможности: первая из них была моя работа, мое искусство, утешение моего искусства; вторая заключалась в том, чтобы вдруг взять да поверить, что довольно в сущности обыкновенный, несмотря на «пти же» бывалого ума, и даже чуть вульгарный человек, вроде Фальтера, действительно и окончательно узнал то, до чего ни один пророк, ни один волшебник никогда-никогда не мог додуматься.

Искусство мое? Ты помнишь, не правда ли, этого странного шведа или датчанина, или исландца, черт его знает, словом этого длинного, оранжево-загорелого блондина с ресницами старой лошади, который рекомендовался мне «известным писателем» и заказал мне за гонорар, обрадовавший тебя (ты уже не вставала с постели и не могла говорить, но писала мне цветным мелком на грифельной дощечке смешные вещи, вроде того, что больше всего в жизни ты любишь «стихи, полевые цветы и иностранные деньги»), заказал мне, говорю я, серию иллюстраций к поэме «Ultima Thule», которую он на своем языке только что написал. О том же, чтобы мне подробно ознакомиться с его манускриптом не

могло быть, конечно, речи, так как французский язык, на котором мы мучительно переговаривались, был ему знаком больше понаслышке, и перевести мне свои символы он не мог. Мне удалось понять только, что его герой — какой-то северный король, несчастный и нелюдимый; что в его государстве, в тумане моря, на грустном и далеком острове, развиваются какие-то политические интриги, убийства, мятежи, серая лошадь, потеряв всадника, летит в тумане по вереску... Моим первым blanc et noir [5 - зд.: эскизом (фр.)] он остался доволен, и мы условились о темах остальных рисунков. Так как он не явился через неделю, как обещал, я к нему позвонил в гостиницу и узнал, что он отбыл в Америку.

Я от тебя тогда скрыл исчезновение работодателя, но рисунков не продолжал, да и ты уже была так больна, что не хотелось мне думать о моем золотом пере и кружевной туше. Но когда ты умерла, когда ранние утра и поздние вечера стали особенно невыносимы, я с жалкой болезненной охотой, сознавание которой вызывало у меня самого слезы, продолжал работу, за которой я знал — никто не придет, но именно потому она мне казалась кстати, — ее праздничная беспредметная природа, отсутствие цели и вознаграждения, уводила меня в родственную область с той, в которой для меня пребываешь ты, моя призрачная цель, мое милое, мое такое милое земное творение, за которым никто никуда никогда не придет; а так как все отвлекало меня, подсовывая мне краску временности взамен графического узора вечности, муча меня твоими следами на пляже, камнями на пляже, твоей синей тенью на ужасном солнечном пляже, я решил вернуться в Париж, чтобы по-настоящему засесть за работу. «Ultima Thule», остров, родившийся в пустынном и тусклом море моей тоски по тебе, меня теперь привлекал, как некое отечество моих наименее выразимых мыслей.

Однако, прежде чем оставить Юг, я должен был непременно повидать Фальтера. Это была вторая помощь, которую я придумал себе. Мне удалось себя убедить, что он все-таки не просто сумасшедший, что он не только верит в открытие сделанное им, но что именно это открытие — источник его сумасшествия, а не

наоборот. Я узнал, что на осень он переехал в наши места. Я узнал также, что его здоровье слабо, что пыл жизни, угасший в нем, оставил его тело без присмотра и без поощрения; что, вероятно, он скоро умрет.

Я узнал, наконец, и это мне было особенно важно, что последнее время, несмотря на упадок сил, он стал необыкновенно разговорчив и целыми днями угощает посетителей — а к нему, увы, проникали другого рода любопытные, чем я, — придирчивыми к механике человеческой мысли, странно извилистыми, ничего не раскрывающими, но по ритму и шипам почти сократовскими разговорами. Я предложил, что посету его, но его зять мне ответил, что бедняге приятно всякое развлечение, и что он достаточно силен, чтобы добраться до моего дома.

И вот они явились, т. е. этот самый зять в своем неизменном черном костюмчике, его жена (рослая, молчаливая женщина, крепостью и отчетливостью телосложения напоминавшая прежний облик брата и теперь как бы служившая ему житейским укором, смежной нравоучительной картинкой) и сам Фальтер... вид которого меня поразил, несмотря на то, что я был к перемене подготовлен. Как бы это выразить?

Зять говорил, что из Фальтера словно извлекли скелет; мне же показалось иначе, что вынули душу, но зато удесятирили в нем дух. Я хочу этим сказать, что одного взгляда на Фальтера было довольно, чтобы понять, что никаких человеческих чувств, практикуемых в земном быту, от него не дождешься, что любить кого-нибудь, жалеть, даже только самого себя, благоволить к чужой душе и ей сострадать при случае, посильно и привычно служить добру, хотя бы собственной пробы, — всему этому Фальтер совершенно разучился, как разучился здороваться или пользоваться платком.

А вместе с тем он не производил впечатления умалишенного — о нет, совсем напротив! — в его странно рассыревших чертах, в неприятном сытом взгляде, даже в плоских ногах, обутих уже не в

модные башмаки, а в дешевые провансальские туфли на веревочных подошвах, чуялась какая-то сосредоточенная сила, и этой силе не было никакого дела до дряблости и явной тленности тела, которым она брезгливо руководила.

В личном отношении ко мне он был теперь не таков, как во время последней короткой нашей встречи, а таков, каким я его помнил по нашим урокам в юности. Не сомневаюсь, что он отлично сознавал, что в календарном смысле с тех пор прошло почти четверть века, а все же, как бы вместе с душой потеряв чувство времени (без которого душа не может жить), он не столько на словах, а в рассуждении всей манеры, явно относился ко мне так, как если бы все это было вчера — и вместе с тем ни малейшей симпатии ко мне, никакого тепла, ничего, ни пылинки.

Его усадили в кресло, и он странно развалился в нем, как рассаживается шимпанзе, которого сторож заставляет пародировать сибарита. Его сестра занялась вязанием и во все время разговора ни разу не приподняла седой стриженной головы. Ее муж вынул из кармана две газеты, местную и марсельскую, и тоже онемел. Только когда Фальтер, заметя твою большую фотографию, случайно стоявшую как раз на линии его взгляда, спросил, где же ты, зять, не отрываясь от газеты, неестественно громко, как говорят с глухими, проговорил:

— Вы же отлично знаете, что она умерла.

— Ах да, — заметил Фальтер с нечеловеческой беспечностью и, обратившись ко мне, добавил: — Что же, царствие ей небесное, — так кажется полагается в обществе говорить?

Затем началась следующая между нами беседа; я записал ее по памяти, но кажется верно:

— Мне хотелось вас повидать, Фальтер, — сказал я (называя его на самом деле по имени-отчеству, но, при переносе, его вневременный образ не терпит этого прикрепления человека к

определенной стране и кровному прошлому) — мне хотелось вас повидать, чтобы поговорить с вами откровенно. Если бы вы сочли возможным попросить ваших родственников нас оставить вдвоем...

— Они не в счет, — отрывисто заметил Фальтер.

— Под откровенностью, — продолжал я, — мной подразумевается взаимная возможность задавать любые вопросы и готовность отвечать на них. Но так как вопросы буду ставить я, а ответов ожидаю от вас, то все зависит от того, даете ли вы мне гарантию вашей прямоты: моя вам не требуется.

— На прямой вопрос отвечу прямо, — сказал Фальтер.

— В таком случае позвольте бить в лоб. Мы попросим ваших родственников на минуточку выйти, и вы скажете мне дословно то, что вы сказали итальянскому врачу.

— Вот тебе раз, — проговорил Фальтер.

— Вы не можете мне отказать в этом. Во-первых, я от вашего сообщения не умру, — ручаюсь; вы не смотрите, что у меня усталый невзрачный вид, сил найдется достаточно. Во-вторых, я обещаю вашу тайну держать при себе и даже, если хотите, застрелиться тотчас после вашего сообщения. Видите, я допускаю, что моя болтливость вам может быть еще неприятнее, чем моя смерть. Ну так как же, согласны?

— Решительно отказываюсь, — ответил Фальтер и скинул со стоявшего рядом с ним столика мешавшую ему облокотится книгу.

— Ради того, чтобы как-нибудь завязать разговор, я временно примирюсь с вашим отказом. Начнем же с яйца. Итак, Фальтер, вам открылась сущность вещей.

— После чего точка, — вставил Фальтер.

— Согласен: вы мне ее не скажете; все же я делаю два важных вывода: у вещей есть сущность, и эта сущность может открыться уму.

Фальтер улыбнулся:

— Только не называйте это выводами, синьор. Это так — полустанки. Логические рассуждения очень удобны при небольших расстояниях, как пути мысленного сообщения, но круглота земли, увы, отражена и в логике: при идеально последовательном продвижении мысли вы вернетесь к отправной точке... с сознанием гениальной простоты, с приятнейшим чувством, что обняли истину, между тем как обняли лишь самого себя. Зачем же пускаться в путь? Ограничьтесь этим положением — открылась сущность вещей, — в котором, впрочем, уже допущена вами ошибка; я объяснить ее вам не могу, так как малейший намек на объяснение уже был бы проблеском. При неподвижности положения ошибка незаметна. Но все, что вы зовете выводом, уже вскрывает порок: развитие роковым образом становится свитком.

— Хорошо, удовлетворюсь покамест этим. Теперь позвольте мне вопрос. Гипотезу, пришедшую на ум ученому, он проверяет выкладкой и испытанием, т. е. мимикрией правды и ее пантомимой. Ее правдоподобие заражает других, и гипотеза почитается истинным объяснением данного явления, покуда кто-нибудь не найдет в ней погрешности. Если не ошибаюсь, вся наука состоит из таких опальных или отставных мыслей: а ведь каждая когда-то ходила в чинах; осталась слава или пенсия. В вашем же случае, Фальтер, я подозреваю, что у вас оказался какой-то другой метод нахождения и проверки. Можно ли назвать его — откровением?

— Нельзя, — сказал Фальтер.

— Погодите. Меня сейчас не столько интересует способ открытия, сколько ваша уверенность в истинности находки. Другими словами,

либо у вас есть способ проверить находку, либо сознание истины заложено в ней.

— Видите ли, отвечал Фальтер — в Индокитае, при розыгрыше лотереи, номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другое образ: в стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший; но никто не знал, что он никому не принадлежит; мнимая же его принадлежность кому-то делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел. Но может быть проще всего будет, если скажу, что в минуту игривости, не непременно математической игривости, — математика, предупреждаю вас, лишь вечная чехарда через собственные плечи при собственном своем размножении, — я комбинировал различные мысли, ну и вот скомбинировал и взорвался, как Бертольд Шварц. Я выжил; может быть, выжил бы и другой на моем месте. Но после случая с моим прелестным врачом у меня нет ни малейшей охоты возиться опять с полицией.

— Вы разогреваетесь, Фальтер. Но вернемся к главному: что именно вам говорит, что это есть истина. Обезьяна чужда жребию.

— Истин, теней истин, — сказал Фальтер, — на свете так мало, — в смысле видов, а не особей, разумеется, — а те, что на лицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что... как бы сказать... отдача при распознавании истины, мгновенный отзыв всего существа — явление мало знакомое, мало изученное. Ну, еще там у детей... когда ребенок просыпается или приходит в себя после скарлатины... электрический разряд действительности, сравнительной, конечно, действительности, другой у вас нет. Возьмите любой трюизм, т. е. труп сравнительной истины. Разберитесь теперь в физическом ощущении, которое у вас вызывают слова: черное темнее коричневого, или лед холоден.

Мысль ваша ленится даже привстать, как если бы все тот же учитель раз сто за один урок входил и выходил из вашего класса. Но ребенком в сильный мороз я однажды лизнул блестящий замок калитки. Оставим в стороне физическую боль, или гордость

собственного открытия, ежели оно из приятных, — не это есть настоящая реакция на истину. Видите, так мало известно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова... Все нервы разом отвечают «да» — так, что ли.

Откинем и удивление, как лишь непривычность усвоения предмета истины, не ее самой. Если вы мне скажете, что такой-то — вор, то я, немедленно соображая в уме все те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал, все же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь порядочным, на самом деле мошенник, но истина мною уже незаметно впитана, так что самое мое удивление тотчас принимает обратный образ (как это такого явного мошенника можно было считать честным); другими словами, чувствительная точка истины лежит как раз на полпути между первым удивлением и вторым.

— Так. Это все довольно ясно.

— Удивление же, доведенное до потрясающих, невообразимых размеров, — продолжал Фальтер, — может подействовать крайне болезненно, и все же оно ничто в сравнении с самим ударом истины. И этого уже не «впитаешь». Она меня не убила случайно — столь же случайно, как грянула в меня. Сомневаюсь, что при такой силе ощущения можно было бы думать о его проверке. Но пост-фактум такая проверка может быть осуществлена, хотя в ее механике я лично не нуждаюсь. Представьте себе любую проходную правду, скажем, что два угла, равные третьему, равны между собой; заключено ли в этом утверждении то, что лед горяч, или что в Канаде есть камни?

Иначе говоря, данная истинка никаких других родовых истинок не содержит, а тем менее таких, которые принадлежали бы к другим породам и плоскостям знания или мышления. Что же вы скажете об истине, которая заключает в себе объяснение и доказательство всех возможных мысленных утверждений? Можно верить в поэзию полевого цветка или в силу денег, но ни то ни другое не предопределяет веры в гомеопатию или в необходимость

истреблять антилоп на островках озера Виктории Ньянджи; но узнав то, что я узнал — если можно это назвать узнаванием, — я получил ключ решительно ко всем дверям и шкапулкам в мире, только незачем мне употреблять его, раз всякая мысль об его прикладном значении уже сама по себе переходит во всю серию откидываемых крыш. Я могу сомневаться в моей физической способности представить себе до конца все последствия моего открытия, т. е. в какой мере я еще не сошел с ума, или, напротив, как далеко оставил за собой все, что понимается помешательством, — но сомневаться никак не могу в том, что мне, как вы выразились, «открылась суть». Воды, пожалуйста.

— Вот вам вода. Но позвольте, Фальтер, правильно ли я вас понял? Неужели вы отныне кандидат всепознания? Извините, не чувствую этого. Допускаю, что вы знаете что-то главное, но в ваших словах нет конкретных признаков абсолютной мудрости.

— Берегу силы, — сказал Фальтер. — Да и я не утверждал, что теперь знаю все, — например, арабский язык, или сколько раз вы в жизни брились, или кто набирал строки вон в той газете, которую читает мой дурак-зять. Я только говорю, что знаю все, что мог бы знать. То же может сказать всякий, просмотрев энциклопедию, не правда ли, но только энциклопедия, точное заглавие которой я узнал (вот, кстати, даю вам более изящный термин: я знаю заглавие вещей), действительно всеобъемлющая — и вот в этом разница между мною и самым сведущим человеком. Видите ли, я узнал — и тут я вас подвожу к самому краю итальянской пропасти, дамы не смотрите, я узнал одну весьма простую вещь относительно мира.

Она сама по себе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человеческая природа может счесть ее чудовищной. Когда я сейчас скажу «соответствует», я под соответствием буду разуметь нечто бесконечно далекое от всех соответствий, вам известных, точно так же как самая природа моего открытия ничего не имеет общего с природой физических или философских домыслов: итак, то главное во мне, что соответствует главному в

мире, не подлежит телесному трепету, который меня так разбил. Вместе с тем возможное знание всех вещей, вытекающее из знания главной, не располагает во мне достаточно прочным аппаратом. Я усилием воли приучаю себя не выходить из клетки, держаться правил вашего мышления как будто ничего не случилось, т. е. поступаю, как бедняк, получивший миллион, а продолжающий жить в подвале, ибо он знает, что малейшей уступкой роскоши он загубит свою печень.

— Но сокровище есть у вас, Фальтер, — вот что мучительно. Оставим же рассуждения о вашем к нему отношении и потолкуем о нем самом. Повторяю, ваш отказ дать мне взглянуть на вашу медузу принят мною к сведению, а кроме того я готов не делать даже самых очевидных заключений, потому что, как вы намекаете, всякое логическое заключение есть заключение мысли в себе. Я вам предлагаю другой метод вопросов и ответов: я вас не стану спрашивать о составе вашего сокровища, но ведь вы не выдадите его тайны, если скажете мне лежит ли оно на Востоке, или есть ли в нем хоть один топаз, или прошел ли хоть один человек в соседстве от него. При этом если вы ответите на любой из моих вопросов утвердительно или отрицательно, я не только обязуюсь не избирать данного пути для дальнейшего продвижения однородных вопросов, но обязуюсь и вообще прекратить разговор.

— Теоретически вы увлекаете меня в грубую ловушку, — сказал Фальтер, слегка затрясаясь, как если б смеялся. — На практике же это есть ловушка, лишь поскольку вы способны задать мне хоть один вопрос, на который я мог бы ответить простым «да» или «нет». Таких шансов весьма мало. Посему, если вам нравится пустая забава, — пожалуйста, валяйте.

Я подумал и сказал:

— Позвольте мне, Фальтер, начать так, как начинает традиционный турист с осмотра старинной церкви, известной ему по снимкам. Позвольте мне спросить вас: существует ли Бог?

— Холодно, — сказал Фальтер.

Я не понял и переспросил:

— Бросьте, — огрызнулся Фальтер. — Я сказал «холодно», как говорится в игре, когда требуется найти запрятанный предмет. Если вы ищете под стулом или под тенью стула, и предмета там быть не может, потому что он просто в другом месте, то вопрос существования стула или тени стула не имеет ни малейшего отношения к игре. Сказать же, что, может быть, стул-то существует, но предмет не там, то же, что сказать, что, может быть, предмет-то там, но стула не существует, т. е. вы опять попадаетесь в излюбленный человеческой мыслью круг.

— Но согласитесь, Фальтер, если вы говорите, что искомое не находится ни в каком соседстве с понятием Бога, а искомое это есть по вашей терминологии «заглавное», то следовательно понятие о Боге не есть заглавное, а если так, то нет заглавной необходимости в этом понятии, и раз нет нужды в Боге, то и Бога нет.

— Значит, вы не поняли моих слов о соотношении между возможным местом и невозможностью в нем нахождения предмета. Хорошо, скажу вам яснее. Тем, что вы упомянули о данном понятии, вы себя самого поставили в положение тайны, как если бы ищущий спрятался сам. Тем же, что вы упорствуете в своем вопросе, вы не только сами прячетесь, но еще верите, что, разделяя с искомым предметом свойство «спрятанности», вы его приближаете к себе. Как я могу вам ответить, есть ли Бог, когда речь, может быть, идет о сладком горошке или футбольных флажках? Вы не там и не так ищете, шер мосье, вот все, что я могу вам ответить. А если вам кажется, что из этого ответа можно сделать малейший вывод о ненужности или нужности Бога, то так получается именно потому, что вы не там и не так ищете. А не вы ли обещали, что не будете мыслить логически?

— Сейчас поймаю и вас, Фальтер. Посмотрим, как вам удастся избежать прямого утверждения. Итак, нельзя искать заглавия мира в иероглифах божества?

— Простите, — ответил Фальтер, — Посредством цветистости слога и грамматического трюка вы просто гримируете ожидаемое вами отрицание под ожидаемое «да». Я сейчас только отрицаю. Я отрицаю целесообразность искания истины в области общепринятой теологии, — а во избежание лишней работы со стороны вашей мысли спешу добавить, что употребленный мной эпитет — тупик. Не сворачивайте туда. Я прекращу разговор за неимением собеседника, если вы воскликнете: «Ага, есть другая истина!» — ибо это будет значить, что вы так хорошо себя запрятали, что потеряли себя.

— Хорошо. Поверю вам. Допустим, что теология засоряет вопрос. Так, Фальтер?

— Барыня прислала сто рублей, — сказал Фальтер.

— Ладно, оставим и этот неправильный путь. Хотя вероятно вы могли бы мне объяснить, почему именно он неправилен (ибо тут есть что-то странное, неуловимое, заставляющее вас сердиться), и тогда мне было бы ясно ваше нежелание отвечать?

— Мог бы, — сказал Фальтер, — но это было бы равносильно раскрытию сути, т. е. как раз тому, чего вы от меня не добьетесь.

— Вы повторяетесь, Фальтер. Неужели вы будете так же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рассчитывать на загробную жизнь.

— Вам это очень интересно?

— Так же, как и вам, Фальтер. Что бы вы ни знали о смерти, мы оба смертны.

— Во-первых, — сказал Фальтер, — обратите внимание на следующий любопытный подвох; всякий человек смертен; вы (или я) — человек; значит, вы может быть и не смертны. Почему? Да потому что выбранный человек тем самым уже перестает быть всяким. Вместе с тем мы с вами все-таки смертны, но я смертен иначе, чем вы.

— Не шпыняйте мою бедную логику, а ответьте мне просто, есть ли хоть подобие существования личности за гробом, или все кончается идеальной тьмой.

— Bon [б - Хорошо (фр.)] — сказал Фальтер, по привычке русских во Франции. — Вы хотите знать, вечно ли господин Синеусов будет пребывать в уюте господина Синеусова, или же все вдруг исчезнет? Тут есть две мысли, неправда ли? Перманентное освещение и черная чепуха. Мало того, несмотря на разность метафизической масти, они чрезвычайно друг на друга похожи. При этом они движутся параллельно. Они движутся даже весьма быстро. Да здравствует тотализатор!

У-тю-тю, смотрите в бинокль, они у вас бегут наперегонки, и вы очень хотели бы знать, какая прибежит первая к столбу истины, но тем, что вы требуете от меня ответа, «да» или «нет» на любую из них, вы хотите, чтобы я одну на всем бегу поймал за шиворот, — а шиворот у бесенят скользкий, — но если бы я для вас одну из них и перехватил, то просто прервал бы состязание, или добежала бы другая, не схваченная мною, в чем не было бы никакого прока ввиду прекращения соперничества. Если же вы спросите, какая из двух бежит скорее, то отвечу вам вопросом же: что скорее бежит — сильное желание или сильная боязнь?

— Думаю, что одинаково.

— То-то и оно. Ведь как же получается в рассуждении человечинки, — либо никак нельзя выразить то, что ожидает вас, т. е. нас, за смертью, и тогда полное беспомыслие исключается, — ведь оно-то вполне доступно нашему воображению, — каждый из

нас испытал полную тьму крепкого сна; либо, наоборот, — представить себе смерть можно, и тогда естественно выбирает рассудок не вечную жизнь, т. е. нечто само по себе неведомое, ни с чем земным несообразное, и именно наиболее вероятное — знакомую тьму. Ибо как же в самом деле может человек доверяющий своему рассудку, допустить, что, скажем, некто мертвецки пьяный, умерший в крепком сне от случайной внешней причины, т. е. случайно лишившийся того, чем в сущности он уже не обладал, как же это он приобретает способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь продлению, утверждению и усовершенствованию его неудачного состояния? Поэтому, если бы вы у меня спросили, даже только одно — известно ли мне по-человечески то, что находится за смертью, т. е. попытались бы предотвратить обреченное на нелепость состязание двух противоположных, но в сущности одинаковых представлений, из моего отрицания вы бы логически должны были вывести, что ваша жизнь небытием не может кончиться, а из моего утверждения вывели бы заключением обратное.

И в том и в другом случае, как видите, ибо сухое «нет» доказало бы вам, что я не более вас знаю о данном предмете, а влажное «да» предложило бы вам принять существование международных небес, в котором ваш рассудок не может не сомневаться.

— Вы просто увильваете от прямого ответа, но позвольте мне все-таки заметить, что в разговоре о смерти вы не отвечаете мне: холодно.

— Вот вы опять, — вздохнул Фальтер. — Но я же вам только что объяснил, что всякий вывод следует кривизне мышления. Он по земному правилен, покуда вы остаетесь в области земных величин, но когда вы пытаетесь забраться дальше, то ошибка растет по мере пути. Мало того: ваш разум воспримет всякий свой ответ исключительно с прикладной точки, ибо иначе чем в образе собственного креста вы смерть мыслить не можете, а это в свою очередь так извратит смысл моего ответа, что он тем самым станет ложью. Будем же соблюдать пристойность и в

трансцендентальном. Яснее выразиться не могу — и скажите мне спасибо за увиливание. Вы догадываетесь, я полагаю, что тут есть одна загвоздка в самой постановке вопроса, загвоздка, которая, кстати сказать, страшнее самого страха смерти. Он у вас по-видимому особенно силен, не так ли?

— Да, Фальтер. Ужас, который я испытываю при мысли о своем будущем беспамятстве, равен только отвращению перед умозрительным тленом моего тела.

— Хорошо сказано. Вероятно налицо и прочие симптомы этой подлунной болезни? Тупой укол в сердце, вдруг среди ночи, как мелькание дикой твари промеж домашних чувств и ручных мыслей: ведь я когда-нибудь... Правда, это бывает у вас? Ненависть к миру, который будет очень бодро продолжаться без вас... Коренное ощущение, что все в мире пустяки и призраки по сравнению в вашей предсмертной мукой, а значит и с вашей жизнью, ибо, говорите вы себе, жизнь и есть предсмертная мука... Да, да, я вполне себе представляю болезнь, которой вы все страдаете в той или другой мере, и одно могу сказать: не понимаю, как люди могут жить при таких условиях.

— Ну вот, Фальтер, мы кажется договорились. Выходит так, что если я признался бы в том, что в минуты счастья, восхищения, обнажения души, я вдруг чувствую, что небытия за гробом нет; что рядом дом, в запертой комнате, из-под двери которой дует стужей, готовится, как в детстве, многоочитое сияние, пирамида утех; что жизнь, родина, весна, звук ключевой воды или милого голоса, — все только путаное предисловие, а главное впереди; выходит, что если я так чувствую, Фальтер, можно жить, можно жить, — скажите мне, что можно и я больше у вас ничего не спрошу.

— В таком случае, — сказал Фальтер, опять затрясаясь, — я еще менее понимаю. Перескочите предисловие, — и дело в шляпе!

— Un bon mouvement, [7 - Будьте любезны (фр.)] Фальтер, скажите мне вашу тайну.

— Это что же, хотите взять врасплох? Какой вы. Нет, об этом не может быть речи. В первое время... Да, в первое время мне казалось, что можно попробовать... поделиться. Взрослый человек, если только он не такой бык как я, не выдерживает, допустим, но думалось мне, нельзя ли воспитать новое поколение знающих, т. е. не обратиться ли к детям. Как видите, я не сразу справился с заразой местной диалектики. Но на деле, что же бы получилось? Во-первых, едва ли мыслимо связать ребят порукой жреческого молчания, так, чтобы ни один из них мечтательным словом не совершил убийства. Во-вторых, как только ребенок разовьется, сообщенное ему когда-то, принятое на веру и заснувшее на задворках сознания, дрогнет и проснется с трагическими последствиями. Если тайна моя не всегда бьет матерого сапыенса, то никакого юноши, она, конечно, не пощадит. Ибо кому незнакомо то время жизни, когда всякая всячина — звездное небо в Эссентуках, книга, прочитанная в клозете, собственные догадки о мире, сладкий ужас солипсизма — и так доводит молодую человеческую особь до исступления всех чувств. В палачи мне идти незачем; вражеских полков истреблять через мегафон не собираюсь... словом, довериться мне некому.

— Я задал вам два вопроса, Фальтер, и вы дважды доказали мне невозможность ответа. Мне кажется, было бы бесполезно спрашивать вас о чем-либо еще, скажем, о пределах мироздания или о происхождении жизни. Вы мне предложили бы, вероятно, удовлетвориться пестрой минутой на второсортной планете, обслуживаемой второсортным солнцем, или опять все свели бы к загадке: гетерологично ли самое слово «гетерологично».

— Вероятно, — подтвердил Фальтер и протяжно зевнул.

Его зять тихонько зачерпнул из жилета часы и переглянулся с супругой.

— Но вот что странно, Фальтер. Как совмещается в вас сверхчеловеческое знание сути с ловкостью площадного софиста,

не знающего ничего? Признайтесь, все ваши вздорные отводы лишь изощренное зубоскальство?

— Что же, это моя единственная защита, — сказал Фальтер, косясь на сестру, которая проворно вытягивала длинный серый шерстяной шарф из рукава пальто, уже подаваемого ему затем. — Иначе, знаете, вы бы добились... Впрочем, — добавил он, не той, потом той рукой влезая в рукав и одновременно отодвигаясь от вспомогательных толчков помощников, — впрочем, если я немножко и покуражился над вами, то могу вас утешить: среди всякого вранья я нечаянно проговорился, — всего два-три слова, но в них промелькнул краешек истины, — да вы по счастью не обратили внимания.

Его увели, и тем окончился наш довольно-таки дьявольский диалог. Фальтер не только ничего мне не сказал, но даже не дал мне подступиться, и, вероятно, его последнее слово было такой же издевкой, как и все предыдущие. На другой день скучный голос его зятя сообщил мне по телефону, что за визит Фальтер берет сто франков; я спросил, почему, собственно, меня не предупредили об этом, и он тотчас ответил, что, в случае повторения сеанса, два разговора мне обойдутся всего в полтораста. Покупка истины, даже со скидкой, меня не прельщала и, отослав ему свой непредвиденный долг, я заставил себя не думать больше о Фальтере. Но вчера... да, вчера, я получил от него самого записку — из госпиталя: четко пишет, что во вторник умрет, и что на прощание решается мне сообщить, что — тут следует две строчки, старательно и как бы иронически вымаранные. Я ответил, что благодарю за внимание и желаю ему интересных загробных впечатлений и приятного препровождения вечности.

Но все это не приближает меня к тебе, мой ангел. На всякий случай держу все окна и двери жизни настежь открытыми, хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старинных приемов привидений.

Страшнее всего мысль, что поскольку отныне ты сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь. Мой бранный состав, единственный, быть может, залог твоего идеального бытия: когда я скончаюсь, оно

окончится тоже. Увы, я обречен с нищей страстью пользоваться земной природой, чтобы себе самому договорить тебя и затем положиться на свое же многоточие...

Париж, 1939 г.

Примечания

1

Дальний Предел

2

Доктор, Вы вполне уверены в том, что науке не известны такие исключительные случаи, когда ребенок рождается у умершей?
(фр.)

3

м-сье Паон, содержатель гостиницы (фр.)

4

о Фальтере-отце (фр.)

5

зд.: эскизом (фр.)

6

Хорошо (фр.)

7

Будьте любезны (фр.)